



1

---

Омон — имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

— Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы — не для того, чтобы продавать их на рынке или съедать, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, рубить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого

у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее — Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание — как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватает его за руки и кричит:

— Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картин-

ка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

— Фамилия твоя как? — спрашивал он.

— Кривомазов, — отвечал я, поддельывая застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего — она была ко мне равнодушна и старалась, чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня — кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь — еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по ко-

торым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком — по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только

потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными — если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помаhal мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полусубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

— «Ме-сто девять», — сказал один летчик другому. — Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

— Зла на тебя не держу, — сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. — Но запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране — меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), — о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полужубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле

вражеских самолетов. «Значит, — думал я, — можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не важно, откуда глядишь, важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблеском своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел *его*.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до такой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз



и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость — поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, — но, поняв, что мира и свободы на Земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.

Я оглянулся и увидел у себя за спиной мальчика моего возраста, который выглядел довольно необычно — на нем был кожаный шлем с блестящими эбонитовыми наушниками, а на шее у него болтались пластмассовые плавательные

очки. Он был выше меня на полголовы и, вероятно, чуть постарше; войдя в освещенную прожектором зону, он поднял ладонь в черной перчатке, растянул губы в холодной улыбке, и перед моими глазами на секунду мелькнул летчик в кабине истребителя с пиковым тузом.

Его звали Митёк. Оказалось, что мы живем совсем рядом, хоть и ходим в разные школы. Митёк сомневался во многих вещах, но одно знал твердо. Он знал, что сначала станет летчиком, а потом полетит на Луну.

Есть, видимо, какое-то странное соответствие между общим рисунком жизни и теми мелкими историями, которые постоянно происходят с человеком и которым он не придает значения. Сейчас я ясно вижу, что моя судьба уже вполне четко определилась в то время, когда я еще даже не задумывался всерьез над тем, какой бы я хотел ее видеть, и больше того — уже тогда она была мне показана в несколько упрощенном виде. Может быть, это было эхо будущего. А может быть, то, что мы принимаем за эхо будущего, — на самом деле семя этого будущего, падающее в почву в тот самый момент, который потом, издали, кажется прилетавшим из будущего эхом.

Короче, лето после седьмого класса было жарким и пыльным. Из его первой половины мне запомнились только долгие велосипедные прогулки по одному из подмосковных шоссе. На заднее колесо своего полуночного «Спорта» я ставил специальную трещотку из куска сложенной в несколько раз плотной бумаги, прикре-

пленной к раме прищепкой, — когда я ехал, бумага билась о спицы и издавала быстрый тихий треск, похожий на шум авиационного двигателя. Несясь вниз с асфальтовой горы, я много раз становился заходящим на цель истребителем, далеко не всегда советским, но вина тут была не моя, просто в самом начале лета я услышал от кого-то идиотскую песню, в которой были слова: «Мой «Фантом», как пуля быстрый, в небе голубом и чистом с ревом набирает высоту». Надо сказать, что ее идиотизм, который я достаточно ясно осознавал, не мешал мне трогаться ею до глубины души. Какие еще я помню слова? «Вижу в небе дымную черту... Где-то вдалеке родной Техас». И еще были отец, и мать, и какая-то Мэри, очень реальная из-за того, что в песне упоминалась ее фамилия.

К середине июля я вернулся в Москву, а потом родители Митька достали для нас путевки в пионерлагерь «Ракета». Это был обычный южный лагерь, может быть даже немного лучше других. Я хорошо запомнил только первые дни, которые мы там провели, но именно тогда и случилось все то, что потом стало существенным. В поезде мы с Митьком бегали по вагонам и сбрасывали в унитазы все бутылки, которые мне удавалось найти, — они падали на несущееся под крохотным люком железнодорожное

полотно и неслышно лопались; привязавшаяся ко мне песенка придавала этой простой процедуре привкус борьбы за свободу Вьетнама. На следующий день всю смену, ехавшую одним поездом, выгрузили на мокром вокзале южного города, пересчитали и посадили в грузовики. Мы долго ехали по дороге, петлявшей между гор, потом справа появилось море, и к нам поплыли разноцветные домики. Нас выгрузили на асфальтовый плац, построили и повели вверх по обрамленной кипарисами лестнице к плоскому стеклянному зданию на вершине холма. Это была столовая, где нас ждал холодный обед, хотя пора было ужинать, — мы приехали на несколько часов позже, чем ожидалось. Обед был довольно невкусный — суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот.

С потолка столовой на нитях, облепленных какой-то липкой на вид кухонной дрянью, свисали картонные космические корабли. Я загляделся на один из них. Неизвестный оформитель потратил на него много фольги и густо исписал его словом «СССР». Корабль висел перед нашим столом, и на его фольге оранжево сияло закатное солнце, которое вдруг показалось мне похожим на прожектор поезда метро, зажигающий-

ся в черной дали тоннеля. Отчего-то мне стало грустно.

Митёк, наоборот, был разговорчив и весел.

— В двадцатых годах были одни космические корабли, — говорил он, тыча вилкой вверх, — в тридцатых — другие, в пятидесятых вообще третьи, и так далее.

— Какие еще в двадцатых годах космические корабли? — вяло спросил я.

Митёк на секунду задумался.

— У Алексея Толстого были такие большие металлические яйца, в которых через крохотные промежутки времени происходили взрывы, дававшие энергию для движения, — сказал он. — Это основной принцип. Ну а вариантов может быть много.

— Так они же никогда на самом деле не летали, — сказал я.

— А эти тоже не летают, — ответил он и показал на предметы нашего разговора, которые чуть качались от сквозняка.

Я понял наконец, что он имел в виду, хотя вряд ли сумел бы четко это выразить в словах. Единственным пространством, где летали звездолеты коммунистического будущего — кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-

то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники, — так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека, точно так же как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов, и мне пришла в голову странная идея.

— Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, — сказал я, — сборные модели. Особенно военные.

— Я тоже, — ответил Митёк, — только давно.

— Гэдээровские наборы мне нравились. А в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась. Когда кабина пустая.

— Точно, — сказал Митёк. — А чего это ты об этом заговорил?

— Я вот думаю, — сказал я, показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет, — есть там внутри кто-нибудь или нет?

— Не знаю, — сказал Митёк. — Действительно, интересно.

...Лагерь был расположен на пологом склоне горы; его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митёк исчез, и я пошел туда один; через несколько минут я оказался в длинной и пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором — тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем — он же, так же глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный — метра, наверно, в три. Он был двухцветным: справа, откуда я медленно шел, — красным, а дальше — белым, и делила эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое, и только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом; у Ленина не было затылка — было только лицо, вся красная поверхность за которым уже была Лениным; он походил на бесплотного бога, как бы



проходящего рябью по поверхности созданного им мира.

Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит — это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке; на шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последним был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой; у него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах, но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски.

Сзади долетели быстрые шаги — я обернулся и увидел Митька.

— Точно, — сказал он, подходя.

— Что точно?

— Смотри. — Он протянул ко мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой.

— Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, — сказал Митёк.

— Ты что, ракету из столовой разобрал? — спросил я.

Он кивнул.

— Когда?

— А только что. Минут десять назад. Самое странное, что там все... — Он скрестил пальцы, образовав из них решетку.

— В столовой?

— Нет, в ракете. Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном.

Митёк показал мне обрывок картонки. Я взял его и увидел очень тщательно и мелко нарисованные приборы, ручки, кнопки, даже картину на стене.

— Но самое интересное, — задумчиво и как-то подавленно сказал Митёк, — что там не было двери. Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с какими-то циферблатами.

Я еще раз поглядел на обрывок картонки и заметил иллюминатор, в котором голубела маленькая Земля.

— Найти бы того, кто эту ракету склеил, — сказал Митёк, — обязательно бы ему по морде дал.

— А за что? — спросил я.

Митёк не ответил. Вместо этого он размахнулся, чтобы швырнуть человечка за проволочную сетку, но я поймал его за руку и попросил отдать фигурку мне. Он не возражал, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы отыскать пустую сигаретную пачку под футляр.

Эхо этого странного открытия настигло нас на следующий день, во время тихого часа. Открылась дверь, и Митька позвали; он вышел в коридор. Долетели обрывки разговора, несколько раз прозвучало слово «столовая», и все стало ясно. Я встал и вышел в коридор. Митька зажимали в углу усатый худой вожатый и рыжая низкая вожатая.

— Я тоже там был, — сказал я.

Вожатый одобрительно смерил меня взглядом.

— Вместе хотите ползти или по очереди? — спросил он.

Я увидел у него в руке зеленую сумку с противогазом.

— Ну как же они вместе поползут, Коля, — застенчиво сказала вожатая, — когда у тебя противогаз один. По очереди.

Митёк, чуть оглянувшись на меня, шагнул вперед.

— Надевай, — сказал вожатый.

Митёк надел противогаз.

— Ложись.

Он лег на пол.

— Вперед, — сказал Коля, щелкая секундомером.

Коридор был длиной во весь корпус, поверхность пола была затянута линолеумом, и когда

Митёк пополз вперед, линолеум тихо, но неприятно завизжал. Конечно, Митёк не уложился в три минуты, которые назначил вожатый, — он не дополз за них даже в один конец, — но когда он подполз к нам, Коля не заставил его повторить маршрут, потому что до конца тихого часа оставалось всего несколько минут. Митёк снял противогаз. Его лицо было красным, в каплях слез и пота, а на ступнях успели вздуться натертые о линолеум волдыри.

— Теперь ты, — сказал вожатый, передавая мне мокрый противогаз. — Приготовиться...

Загадочно и дивно выглядит коридор, когда смотришь в его затянутую линолеумом даль сквозь запотевшие стекла противогаза. Пол, на котором лежишь, холодит живот и грудь; дальний его край не виден, и бледная лента потолка сходится со стенами почти в точку. Противогаз слегка сжимает лицо, давит на щеки и заставляет губы вытянуться в каком-то полупоцелуе, относящемся, видимо, ко всему, что вокруг. До того, как тебя слегка пинают, давая команду ползти, проходит десятка два секунд; они тянутся томительно медленно, и успеваешь многое заметить. Вот пыль; вот несколько прозрачных песчинок в щели на стыке двух линолеумных листов; вот покрашенный сучок на планке, идущей по самому низу стены; вот муравей, став-

ший после смерти двумя тончайшими лепешечками и оставивший после себя маленький мокрый след в будущем — в полуметре, там, куда нога шедшего по коридору ступила через секунду после катастрофы.

— Вперед! — раздалось над моей головой, и я весело, искренне пополз вперед. Наказание казалось мне скорее шуткой, и я не понимал, чего это вдруг Митёк так скуксился. Первые метров десять я прополз мигом; потом стало труднее. Когда ползешь, в какой-то момент отталкиваешься от пола тыльной частью ступни, а кожа там тонкая и нежная, и если на ногах ничего нет, почти сразу же натираешь мозоли. Линолеум прилипал к телу, и казалось, что сотни мелких насекомых впиваются мне в ноги или что я ползу по свежепроложенному асфальту. Я удивился тому, как медленно тянется время, — в одном месте на стене висела большая пионерская акварель, изображавшая крейсер «Аврору» в Черном море, и я заметил, что уже довольно долго ползу мимо нее, а она все висит на том же месте.

И вдруг все изменилось. То есть все продолжалось по-прежнему — я так же полз по коридору, как и раньше, — но боль и усталость, дойдя до непереносимости, словно выключили что-то во мне. Или, наоборот, включили. Я заметил, что вокруг очень тихо, только под моими локтями

скрипит линолеум, словно по коридору катится что-то на ржавых колесиках; за окнами, далеко внизу, шумит море, и где-то еще дальше, словно бы за морем, детскими голосами поет репродуктор:

Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко,  
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь...

Жизнь была ласковым зеленым чудом; небо было неподвижным и безоблачным, сияло солнце — и в самом центре этого мира стоял двухэтажный спальный корпус, внутри которого проходил длинный коридор, по которому я полз в противогазе. И это было, с одной стороны, так понятно и естественно, а с другой — настолько обидно и нелепо, что я заплакал под своей резиновой мордой, радуясь, что мое настоящее лицо скрыто от вожатых и особенно от дверных щелей, сквозь которые десятки глаз глядят на мою славу и мой позор.

Еще через несколько метров мои слезы иссякли, и я стал лихорадочно искать какую-нибудь мысль, которая дала бы мне силы ползти дальше, потому что одного страха перед вожатым было уже мало. Я закрыл глаза, и настала ночь, бархатную тьму которой изредка пересекали вспыхивающие перед моими глазами звезды. Опять стала слышна далекая песня, и я тихо-тихо, а может быть и вообще про себя, запел:

От чистого истока в прекрасное далеко,  
В прекрасное далеко я начинаю путь.

Над лагерем пронесся светлый латунный звук трубы — это был сигнал подъема. Я остановился и открыл глаза. До конца коридора оставалось метра три. На темно-серой стене передо мной висела полка, а на ней стоял желтый лунный глобус; сквозь запотевшие и забрызганные следами стекла он выглядел размытым и нечетким; казалось, он не стоит на полке, а висит в сероватой пустоте.

Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было четырнадцать лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митёк, — его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами, и мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным и неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд — словом, если бы не бутылки из-под сушняка и заледеневшие потеки мочи, вокруг был бы космос.

Митёк предложил пойти погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфе-



ре гаража, в которой тоже было что-то космическое. Внутри было темно; смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенная к стене; там горел свет. Мы с Митьком протиснулись внутрь, сели на узкой и неудобной лавке и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер «Техники — молодежи» и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митёк вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил:

— Будешь?

Я кивнул, хоть мне и стало не по себе. Митёк до краев наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай, протянул его мне; словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митёк с братом допивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, названия которых надо было угадать. Один понравился мне больше других —

это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но ее я не успел толком рассмотреть, потому что Митьков брат, молча и даже не подняв глаз, вытянул журнал из моих рук. Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полусохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплыванной каморке, где пахнет помойкой, противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн, от того, что вся огромная страна, где я живу, — это много-много таких маленьких заплыванных каморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн, а самое главное — обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба пронесит меня мимо какого-нибудь высоко расположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидным мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, которой был застелен стол, — она была в жирных пятнах, в пропалинах от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец.